

Олег Григорьев

Л Е Т Н И Ъ Д Е Н Ь
/рассказ детеныша/

Только опять легли, а уже подъем, даже сон чем кончается не увидел. Ой, как спать хочется, даже глаза склеились: завернуться в клубочек и сон про себя досматривать. А с тебя уже одеяло колючее стягивают, чтобы холодно тебе спящему было, и за пятки больно щекотятся.

— Кхи-ты-чхи! — вот и чихнул. Утром всегда так чихается, потому что солнце в нос через стекло разбитое светит. Вон как в носу свистит, даже сопли качаются.

А Ленька-какун уже ботинки напялил. И смотрят его ботинки в разные стороны, не на те ноги напялены потому что. Шнурки болтаются и лямка висит, а рубаха шиворот-навыворот одета. — значит снова Леньку бить будут, всегда его кто-нибудь душит, вот и сегодня тоже.

Наступил Ленька на шнурок и — шлеп животом как лягушка. Поднялся, а тут ему на лямку встали и опять на полу лягушачий шлеп послышался.

А на нем уже Юрка злодей сидит. Потянул его за рот — чуть губа не оторвалась, потому что мягкая. А Ленька его схватил за ухо резиновое, растянулось оно, а потом да место стрельнуло, дрожит теперь. Тогда Юрка за живот его душить начал, так что сопли пошли.

Ну их. Я быстренько сандали одел и к умывальнику отдравился. Здесь воспитатели чистить зубы нас заставляют, для этого щетки волосатые выдают.

А зачем зубы чистить? Все равно они скоро выпадут и заместо них другие вырастут. Вот те и надо чистить. У меня уже вырос один такой, а другие еще шатаются. Буду его одного чистить. Ух ты, паста какая вкусная! Вначале съем одного червяка, а другого на щетку можно. Мухи из умывальника льются. Куда они только не забираются, эти мухи. В нос за-

бираются и в уши дырявые. Сидит одна и поет в моем ухе, а уходить не собирается. Но я гвоздем ее оттуда вытащил, который здесь заместо вешалки всем глаза царапает. Не воткну его обратно, в трусы воткну. Пускай как сабля острая на боку висит, пригодится потом наверное.

А мухи все льются и льются. Не буду я умываться мухами, мыльные пузыри делать буду. Вон какие большие летают, только плохо, что мухи на них натыкаются. Все пузыри мои так полопались. Оторвал я за это одной мухе голову, а она и без головы полетела, вредная. Я ее чуть в нос не проглотил. Всякие на свете мухи бывают: жужжащие, кусающие или просто летают которые. И никуда от них не спрячешься. Даже по завтраку нашему ходят. Завтрак это не потому что завтра, так бы он сегодняшником назывался. Но его все равно называют завтраком. Значит сегодня это уже завтра, а завтра послезавтра-ним будет. Но, и тогда по завтраку мухи ходить не перестанут. Всегда они будут жужжать и в кашу садиться.

Кашу на стол принесли. Некрасивая каша, в точках вся и вареньем обмазана, чтобы есть ее было можно.

Варенье я сразу же языком слизал, так что мухи теперь на губы перескочили.

Невкусная мне каша подалась. У Юрки вкусная, вот он ее и лопает. А я лопать не буду. Меня заставляют, а я все равно же не буду. Не хочу я кашу, значит и есть не могу. Эту машину кашу-ка - слово-то какое непонятное, совсем его без варенья не интересно есть. Шлепать надо по нему ложкой.

А в каше уже мухи застряли. Мы их пальцем скорее спасаем, а кашу на стол ляпаем, как будто идет корова с лепешками.

Ленька вилкой в носу заковырял, а изо рта слюнявые пузыри пускает. Воспитательница - шлеп его по губам, вот он и ревет теперь. Из носа, из глаз, изо рта текут у него слезы и все прямо в кашу заместо варенья.

А вокруг стола курицы бродят. Петухов нет, а кто-то все время кукарекает.

.. Тут нам яйца сразу принесли, раздают по очереди. Одной девчонке яйцо с тухлым цыпленочком досталось. Все ей завидуют, а она плачет.

Цыпленочка нюхать тоже до очереди стали. - Ну кось лайт-ка и я понюхая. Фу, как здорово! Даже яйцо мое лопнуло и по скатерти расположилось. Тогда мне новое принесли, не простое, а вареное.

Желтки в вареных немножко вкуснее, а вот белки мы есть! - в курицу рябу, которая ходит здесь, швыряем.

Прыгнула она на стол, кисели наши все сломала - настоящее кисельное море с плавающими скорлупками получилось.

После еды помыли уши, а потом гулять ушли. Вся дорога в коровьих лепешках заляпана. Люнят коровы ходить и пачкать везде. Вот и сейчас идут. Целое стадо рогатое. Идут и бубенчиками побрякивают, а между ног у них титьки болтаются.

Девчонки сразу же реветь стали. Всегда они плачут, когда коровы идут. И мальчишки некоторые тоже плачут. Вот бояки! Только я один коров не боюсь. Если у коровы рога отломаны, то ее и бояться нечего. Я рогов боюсь, а не коровы: вот как посадят тебя на рога, так и умрешь - страх один! Мы сразу же через канаву глубокую прыгнули, чтобы коровы дотать не могли.

А они уже мимо идут, и лепешки от них зеленые падают. Идут и да нас оглядываются. Вдруг один бык на корову ногами передними встал. Заревела корова и в сторону дернулась, а он рычит и на задних копытах за ней идет, прямо как лошадь в цирке. Даже воспитательнице смешно, а нам страшно сделалось...

А другая корова ноги расставила и писать начала, так что брызги меня закапали. Сама плачет и цветы нюхает, а у самой вода как из шланга льется.

Вначале я думал - коровы молоком писают, а оказывается водой коричневой.

Потом, наконец, ушли эти коровицы, хвостами размахивая, и мы дальше отправились. Вокруг только пни, да березы поломанные, а в березах солдаты ходят и палкой железной землю щупают - мину ищут.

Недавно война здесь шла и пули валялись кислые. Мы их в рот ложили, потому что вкусные они, и сосали с пальцами вместе.

Потом на полянку пришли. Трава здесь тоже кислая. Кудыркаться стали. Так я через голову перекувырнулся, что даже пулю в живот проглотил. Но ничего, потом она все равно из меня выйдет. Много чего я проглатывал: и шарики, и винтики, и гвоздики разные, и все это потом обратно выходило. А однажды мамину серьгу проглотил. Мама все в горшок мой смотрела, но серьга так и не вышла. Значит теперь в животе моем лежит. Много в моем животе разных штучек, как в копилке все равно что. Подпрыгнешь — даже побрякивает и урчит что-то.

А из леса к нам солдаты пришли. Если мину наядете — говорят — так о камень ее не стукайте, а не то подзорваться можно, костей не соберешь. И воспитателям наказывают в лес никого не пускать. Стали мы по поляне бегать, кузнечиков прыгающих ловить. Огромного я кузнечика поймал, зеленый весь, только брюхо желтое, а в конце сабля торчит. Шевелит он усиками и слюни коричневые пускает.

Между кузнечиками мы драку устроили. Мой кузнецик всем другим головы разжевывал, пока какой-то кузнец не разжевал его самого.

А Ленька стрекозу поймал и живьем съел, говорит, что вкусная. За столом ничего не ест, а как гулять идем — все в рот пихает. Вот и траву на поляне всю уже съел, заячей капустой называющейся. Так объелся, что живот распух, крепким стал, как у лягушки, которую Юрка злодей через соломинку качает. Накачал, а потом за ноги располовинил. Значит теперь лягушачий будет.

Потянул я Юрку за шиворот, и мы с ним в кусты поползли, чтобы в лес незаметно отправиться. Не интересно нам с Юркой на поляне сидеть, вот мы и удали потихонечку.

Юрка — это один мой друг. Он злодей, он мучитель. Он может в рот положить целого червяка и нисколечко не испугается. Ленька тоже червяков в рот ложит, но он потому что

дурак, а Юрка по храбрости. Он у нас самый храбрый в детском садике. По борьбе первый я, а Юрка потом, но червяков живьем ложить в рот я боюсь, значит, Юрка меня храбрее. А еще у него уши резиновые. Дергает его воспитатель за уши, а они у него только растягиваются и не болят ему никаколаекко. А еще он пишет выше чем я, в уборной до потолка до самого, поэтому он и друг мой.

Зашли мы в лес, а там березы поломанные валяются. Спотыкаться и падать стали. Юрка чуть в яму не улетел, где проволока колючая смотана. Здесь бомбы рвались, вот и ямы от них такие круглые. Потом смотрим — кучища стоит, и в кучице что-то шевелится. Это муравейник такой большой, муравьи в нем шевелятся желтые.

Муравьи домой дохлую стрекозу тащат, наверное самолет из нее делать хотят. Стали отнимать у них стрекозу, а они не дают, ртами ее к себе тащат и кусаются. Раздавили тогда их ногами, так что грязь осталась, и дальше идем. А дальше другой муравейник, только поменьше чуть-чуть и муравьи в нем черные маленькие. Между муравейниками война идет из-за гусеницы волосатой. Черные к себе ее за волосы тащат, а желтые д к себе за мясо. Вот у них и война пошла. Копошатся, грызут друг друга, только головы валяются и клещами жуют, а гусеница ни с места. Они ее как канат перетягивают и никто перетянуть не может. Тогда мы за маленьких, за черных заступились. Юрка веткой гусеницу поддел и на их муравейник забросил, чтобы ели ее. А желтый мы палками стали воротить, разворотили весь, а там кости и череп собачий с клыками белеется. Хватают муравьи свои яйца в зубы и в голову собаки прямо в глаза уползают, от света в темноту прячут яйца. Вот гады какие, собаку сожрали целую и на ней муравейник устроили. Стали мы писать в них, настоящий потоп в муравейнике устроили. Все на них выписали. А потом Юрка стал череп собачий вытаскивать, наклонился и выдергивает его оттуда. А череп не выпергивается крепко к собаке приделан. Еще дернул и слеп животом в муравейник. Хотел подняться, да руки в глубину ушли. А муравьи его так и облепили, так и едят всего. И меня уже кусают, лезут

по ногам и в мясо зубами впиваются. А Юрка все еще в муравейнике сидит. Вскочил потом, закричал и в сторону мыслью бросились. Упал он на землю и кататься стал, пока муравьи от него не отпали, а не то загрызли бы, как собаку. Отбились от муравьев, на поляну возвращаемся. Стыдно Юрке, что он кричал, идет обкусанный и листья пинает. Вдруг пнул, и что-то железное послышалось. Смотрим, а это мишица круглая, вся блестит и с буквами нарисованными. Здесь же бутылка валяется. Схватил Юрка бутылку и о пень шмякнул, так что стеклянки посыпались. Потом минуту схватил и тоже о пень. Вот дурак, хорошо, что не подзорвалась, а то бы что нам воспитательница тогда наделала? Я скорее к додатам побежал — мина, кричу, мина железная. Бросили солдаты палки, за мной к мине бегут. Выхватил один минуту у Юрки и читает, что на ней написано. Потом инструмент кривой из кармана достал, вскрывать ее осторожненько начал.

У меня от страха даже мурашки по спине забегали. Вскрывает он, а все следят в тишине, вот-вот подзорвается. Потом вскрыл, наконец, руками железку отогнул и понюхал. Сели тут солдаты в кружочек и есть стали со смехом все, что в мине положено. Все съели — разминировали значит. А Юрку, муравьями искусанного, за шварник взяли и, тряся в воздухе, к воспитателю принесли, чтобы мины больше о пень не шмякали. Схватила его воспитательница за ухо и потянула как за резину какую-то, потом напротив себя посадила и не пускает ни на шаг теперь. Я скорее с ребятами остальными смешался, чтобы и мне не попало. Играть с ними стал. А без Юрки скучно. Совсем неинтересно дети играют. Девчонки венки из цветов плетут, мальчишки в петушка или курицу травой играют, другие из носа сопли вытягивают, меряют, у кого длинней. Совсем мне не интересно так.

А ну-ка, что это Лариска косматая за кустами делает?. Ушла на поляну и с кем-то белым, живым разговаривает. Найду к Лариске, она хоть девчонка, а все равно хорошая. Совсем как мальчишка настоящая. Не царапается никогда, не кусается и щекотки не боится никакие. Всегда лохматая ходит, лох-

мудрей ее называют, а еще оцарапана больше всех, потому что ползает где не надо. Однажды она в яму залезла, в воронку, где вороньи ходят, а вылезла оттуда вся в проволоку колючую изорванная, так оцарапалась, что кровь из нее ручьями текла. Ей за это уколы втыкали, а царапины до сих пор наизади сидят. В мертвый час она их всегда мне показывает, задерет ноги и показывает, даже трогать дает. А бегает она быстрее всякой курицы. В пятнашки только я и Юрка ее догоняем. И совсем не ябедничает и не плачет, когда мамы от нас уезжают.

Зашел я за кустами, смотрю, а Лариска с козой безрогой возится. Запуталась коза веревкой за палку и распутаться не может. Обвела все кругом и губами к траве необъеденной тягнется, да веревка не пускает. Стали мы веревку разматывать. Водим козу вокруг палки и разматываем, чтобы с голоду не сдохла и не блеяла больше. К рогатой бы и не подошли, а безрогую и бояться нечего. Распутали и гладить стали. Я даже забрался на нее как на лошадь, только слез сейчас же. Очень у нее спина острая. А Лариска все ее гладит, поцеловала даже в морду ее хорошую. Белая была козочка, красивая, только титьки уж слишком длинные, высят - чуть до самой земли не касаются, так и хочется дернуть за них. Наклонилась Лариска и дернула, даже молоко оттуда забрызгало. А козочка стоит и с места не движется, только ушами подрягивает и джует что-то, а из глаз зеленые слезы повисли. Тогда и я под нее заполз, а Лариска все сиськи дергает, на глаза мне и в нос молоко течет. Вскочил я и скорей за Лариской помчался, чтобы мордой ее в титьку ткнуть. Быстро за ней бегу, а она еще быстрее, тогда я - ать! подножку ей свади, так что она переворнулась и коленом о камень ударилась. Лежит и корчится от боли как гусеница, а из колена кровь течет. Жалко мне ее стало, - не плачь - говорю - это камень проклятый виноват во всем, сейчас я его выверну и в кусты заброшу. Отвернулся камень, а там черви едят кого-то, в клубке переплетаются. Оказались на солнце и в землю впились. Щепнул я камень в них - одна жика красная брызнула.

А Лариска сидит на корточках и рану рассматривает, кровь из нее так и течет и на землю капает, проливается. А я знаю, что делать нужно. Если кровь идет, надо сразу же языком лизать, тогда остановится кровь и присохнет. А Лариске и не достать никак языком до колена, сидит она и только плачет тихонечко.

Тогда я сам зализывать стал. Взял ее ногу и кровь языком лижу. Кровь у нее соленая, противная, так и хлюпает ворту, чуть не тошнит меня. Слюннул ее скорее, а к ранке листок прислонявши тоненький — не могу я чужую кровь переносить, — совсем противная. За руку Лариску взял и пошли мы где дети все. А здесь тоже приключение случилось. Леньку оса в щеку укусила, так что щека у него на грушу теперь похожая. Окружили его дети и грушу щупают. А вокруг на поляне бабочки порхают, совсем как бумажки конфетные. Одна рядом села, черная вся, а на крыльях божии коровки нарисованы. Отпустил я Лариску, к бабочке приближаюсь. Такая она красивая, что даже страшно мне.

Сидит она и язычок закрученный показывает, так что у меня самого язычище вытянулся. Тихонечко я подкралываюсь на цыпочках, и тут прыг на нее животом и примял. Бьется она подо мной как птичка, а я лежу и что делать дальше не знаю. Потом хвать ее в кулак, смотрю, а вместо бабочки червячик раздавленный, по бокам его крылья лохматые болтаются. Вся краска с них на меня перешла и остался от нее настоящим только язычок закрученный. Бросил ее в сторону, а сам в траву сел. Обидно стало. Всегда так, потянулся я однажды за золотинкой, схватил, а это плевок такой. Вот пойду сейчас и кучу малу всем устрою. Вон сколько народа собралось, все Ленькину грушу щупают.

Схватил я одну девчонку за голову и в Леньку ее носом курносым ткнул, а она не на Леньку, а на меня упала, так что я сам носом в землю ткнулся. А тут на нее и Ленька брякнулся, а на Леньку детский садик весь. Куча-мала, кричат, куча-мала! Всегда я на кучу-малу сверху прыгаю, а вначале только толкаю всех, а тут и сам внизу очутился. Страшно

внизу сидеть, темно и дышать нечем, а сверху все наваливаются и давят, да еще ботинком кто-то в лицо пинает. Хорошо, что воспитательница всех за ноги растянула, а не то ведь так и задохнулся бы, в животе рычит даже. А воспитательница всех в пары ставит. Значит, кончилась прогулка наша, назад в детский сад возвращаемся. Пошли мы не той дорогой, где коровы встретились, другой совсем, но и тут все равно в лепешку вляпались. Идем не спеша, по сторонам глазеем. Вокруг заборы стоят, за заборами дети глядящие. Лагеря вокруг пионерские и детские садики разные. А один детский садик здесь удивительный очень. Самый удивительный в мире наверное. Уроды там кривые живут, рахитами их воспитатели называют. Не будьте есть, говорят, и тоже в рахитиков превратитесь. А они стоят за забориком и на нас глазами косыми поглядывают.. А сопли у них до колена свесились, языком их лижут и об забор утираются. Ушами трясут и хихикают, и под нос себе что-то бубнят нехорошее.

Любопытно нам их разглядывать. Горбатые все, корявые как сучки, носы картошками на лицо повешены. У одного вместо пальцев точки виснут, у другого ухо к плечу приклеено, а еще один - так совсем ходить не умеющий, на коляске его катают, а он плывется в разные стороны..

Лариска даже видела здесь уродика, с двумя головами который. Я не видел такого, а очень бы интересно на него посмотреть. Воспитательница говорит, что зря их живыми тут держат. Умерщвлять, говорит, их надо, а не то только хлеб зря жуют. В войну, говорит, все рабочие голодные ходили, даже крысы, говорит, переели всех и гадости отваривали, а этих всех разных кривых идиотов и сумасшедших - многих безо всякой пользы кормили. Раз, говорит, не приносишь попызу, значит, и жить, говорит, нельзя. А я совсем по-другому чую. Правильно, думаю, что этих рахитиков кормят. Пускай живут на удовольствие. Вон какие смешные. Заползли на заборик и кричат нам - бу-бу-бу. А с двумя головами который - это совсем любопытно даже. Ну-косы где он? Что-то не винно. Наверное в доме сидит и гулять стыдится. А если бы у меня две головы выросли, я бы хвастался перед всеми, а не прятался. Ходил бы себе по ули-

цам, как Тянитолкай из Африки, и головами бы своими со всеми здоровался.

А доспятательница даже и посмотреть да них не пает. Всех подальше скорее уводит. Идем мы и щенком под ноги смотрим, чтобы опять в лепешку не вляпаться. У всех в руках жук сидит или саранча какая, а у меня и нет ничего. Но я все равно кого-нибудь изловлю, обязательно кого-то поймаю, потому что иду я последним самым и отставать мне можно.. Ага, вот они, жучки мои бронзовые, на розе красной уселись, божии коровки между ними подзают, а они дверкают на солнце, как золото. Скорей бы все дальше вперед ушли от этого забора дюючего. Только бы не заметил никто, что роза из него выглядывает. Вот так, отошли немного. Теперь хватать ее быстро надо с жуками вместе. Од-ей-ей! что это? Схватил я розу, а она как будто тоже из проволоки колючей сделана, впилась в руку мою, пальцы все иголками исколола, а жуки на землю в крапиву попадали. Скорее в крапиву лезу, чтобы достать их. Щупаю землю, а жуков и нет, только черные гусеницы по крапице ползают, и в бок что-то острое царапает. Оглянулся тогда - ужас какой! Ручица длинная волосатая из-за забора тянется. Пальцы сжимает, как будто ищет что-то, и зацепить меня ногтищами хочет, да не потягается. И никого за забором из-за веток не видно. Оторвал я скорее крапивину, хлыст по руке, - убралась сейчас же. А сам наутек бежать к группе сдоей уходящей. Хорошо, что меня не сцепали, а то что бы тогда? Нарочно ведь сцепать хотели, чтобы дозы не драли. А ну их, только зря окрапивился. Вот и гвоздь приголился волдыри расчесывать. Надо было им эту руку проклятую к забору пригвоздить, не пугала чтобы. Ну и так ей хорошо досталось от крапивини: ничего, что пальцы себе обжег, зато ее всю изжалил.

А бронзовиков и не жалко, нисколечко. Вон сколько лепешек коровьих валяется и в каждой лепешке целая страна жуков - все навозники.

Всякие на свете жуки бывают: провосеки, пни едящие, усачи рогатые, щелкунчики, плавунчики и даже жуки могильщики, под дохлыми кошками живут которые. И все они, как звери.

злые: царапаются, кусаются, один в кожу воняется, другой кровь высосет, а какой-нибудь так в палец вцепится, что совсем лучше без пальцев жить. А навозники — жуки самые добрые, я их больше всех люблю. Пожарники тоже хорошие, но они мягкие, а навозники крепкие, совсем как бронзовики, только с бронзовиками играть неинтересно. Схватишь его, а он, притворя, сразу же мертвым притворяется. А навозник никогда притворяться не будет. Налетит на тебя как пуля и сразу же ползать начинает.

Вот один мимо меня прошуркал. Сел на лепешку и в глубину уполз, но я его оттуда гвоздем выковырял. Вошки на его животике ползают. Летают на нем как человечки на самолетике. Я их гвоздем соскреб, потому что противные. Но некоторые все равно у него остались. Заползли к нему в подмышки и сидят теперь. Не буду же я лапки отрывать ему. Навозника я сразу же на ниточку привязал, которая из майки вытягивается. Потянул ее — тянется, еще потянул — еще вытянулась, так бы всю майку распустил, да оборвал, когда нитка длинная стада. К другому нитциальному концу гвоздик приделал. Теперь, когда ночь, буду гвоздь в землю втыкать, чтобы жук по травке ходил и еду себе добывал, как та козочка. Дернул я за нитку, жук свои крылья раскрыл и летит с гуденьем, а я за ним бегу и за нитку держусь. Так и очутились мы в детском садике — я бегущий, а он летящий. Потом на голову опустился, ползет за щицворот.

А тут уж ветра и лейки зазвякали, вода в них колышется. Значит, опять процедура какая-то, из лейки водой поливать нас будут. Побежал я в дом скорей, жука под полущку запрятал и назад воротился. А воспитатели всем уже раздеваться велят, майки с себя снимать и трусы последние. Майку я снял, а трусы не хочется. Противно, когда ты голый и муки кусают, да еще когда девчонки хихикают.

Им-то, девчонкам, что, а вот мальчишкам как? И мальчишкам оказывается тоже ничего. Все уже раздетый голыми прыгают, только я один в трусах стою. А Лариска вредная так и смотрит на меня глазищами, и все смотрят, потому что я — это трус. Раз в трусах — значит трус. Очень мне против-

но и стыдно делается. Лучше бы уж совсем этого солнца не было, чем раздетым бегать под ним. Но потом все-таки я раздался, даже Лариска запрыгала от радости, стала пальцем на меня всем показывать. Вот гадина, а я ей еще кровь зализывал.

Воспитатели думают, что мы maidenkie и ничего не понимаем, но мы-то с Юркой знаем, что девчонки какие-то не такие. Только не знаем мы, почему они так сделаны. Да и вообще мы не знаем, как делается человек. Мама сказала, что она под деревом меня нашла. Значит, я как яблоко на дереве вырос, а потом на землю упал. А к дереву я за пуп прикреплялся. Ведь у яблока тоже посередине пуп растет, которым он за ветку держится. Вот и у людей так же устроено. Это мне мама так сказала. А Юрка говорит, что это все врачи сплошные. Он говорит, что дети выходят откуда-то из мам, из животов наверное. Разрежут живот и оттуда дети выходят голенькие. Но я ему тоже не верю злодею. Зачем же тогда человеку пуп, если дети из животов выходят? Вон он у Юрки длинный какой. И еще страшно это, когда живот режут. Наверное, все как-то по-другому делается.

А меня уже как куклу какую-то за голову взяли и из лейки водой поливают. А тут как раз дождь лягушачий закапал. Зачем же водой поливаться, если дождик и сам как из лейки льет?

Стали мы под дождиком как лягушата прыгать. Интересно это — облаков нету, а дождик идет откуда-то. Над головой солнце сплошное светит, а вокруг золотые капли падают. Они, наверное, от солнца отрываются и летят к нам на землю. Очень это хорошо по лужам прыгать в каплях солнца. Так хорошо, что даже трусов опевать не хочется. А в лицо уже радуга засветила. Интересно бы на нее забраться. Перепачкались бы все в краску, наверное, а потом бы нас купаться повели. А дождик так и булькает, так и бьет по голове, весь мир золотыми каплями обвешан.

Вдруг что-то как грохнет, потом как треснет над головой и засверкало. все и потемнело вдруг, и солнце за тучи спряталось. Испугались мы, в кучу сбились, жмемся спинами, а

девчонки уже визжат...

Схватили мы одежду и, друг на друга наталкиваясь, в дом побежали с криками, так и ворвались в комнату без штанов. Совсем как команда бесштанная.

А здесь уже суп на столе испаряется, кисели в стаканах стоят. Обед сегодня с улицы в дом перенесли, не будем же мы суп с дождем есть.

Притихли все, в штаны одеваются. Сели за стол и первой ложкой себе рот весь одпарили, так что кожа во рту сошла. Ленька в суп кисель поддавил, а не то соленый больно. Я тоже киселя хотел влить, да воспитательница его отбирает. Значит после второго получим, а вначале суп хлебайте. Выхлебали первое, а за первым второе пошло, не в то горло попало. Кашляют все, а воспитатель по спинам колотит, потом опять кисели вернула, запивать чтобы селедку соленую.

Медленно мы кисели растягиваем, знаем, что после третьего мертвый час нас ждет.

Мертвый час - это не так страшно, как в первый раз нам послышалось. В мертвый час не умирают, а спят потому что. Это нарочно нам такой час придумали. Вначале я не знал про него. Думал, что ночь одна светлая, а другая темная бывает, а оказывается все не так, оказывается нарочно нас днем спать заставляют, чтобы мы не мешали воспитателям. Они ведь тоже между собой играют любят.

Лег я в кровать, а навозника моего нету. Тогда я за ниточку потянул, и он опять очутился в кровати. Тут воспитательница с горшками пришла. На горшок всех зовет. Очень я хотел к горшку, но пойти побоялся. Увидит она жук моего и убьет на месте, или в горшок бросит, злодейка, куда накакали. Поэтому я лежать остался. Засунулся под простыню с головой и смотрю, как жук по мне ползает. Щекотит меня ноготками и в нос ползет, но толстый слишком, в ноздрю никак пролезть не может.

А за простыней вдруг шум послышался. Выглянул я, смотрю - Ленька на горшке заснул совсем. А Юрка не терпится, прыгает Юрка на месте и с горшка его спихивает, а не то опять описать грозится. А Леньке, может быть, нужно так

долго сидеть, чтобы во сне в кровать не обкакаться. Потом ушел все-таки Ленька. Юрка его место занял. Не по большому занял, по маленьку - только брызги летят в разные стороны. За ним и Лариска пошла. Не хочет Лариска по-девионочьи садиться, тоже мальчишкой хочет быть. Расставила ноги, запрала рубашку и стоя сверху начала, да все по ноге течет. Тут воспитательница за горшками своими вернулась. Взяла горшки, и, гремя ими, из комнаты вышла. Одни мы теперь остались. Вот здорово!

Юрка с постели вскочил, стал всех подушкой по голове лупить. В мертвый час мы всегда всех подушками лупим, но в этот раз я не дерусь, потому что жук у меня, навозник. Убьют еще.

Тогда и Юрка на место лег. Пальцем в носу ковыряет. До тех пор ковырял, пока кровь не подшла. Другие дети, мух на окне раздавливают, а еще вытащат из подушки перо и в заднее место им втыкают. Некоторые зубы во рту расшатывают или чешут долячки, а остальные палец соленый в рот засунули и спят давно.

А по крыше дождик ходит и гром гремит. Две девчонки в одеяло с головой закутались и плачут там, как кошки. Только Лариска одна хихикает. Дрыгает ногами и царапины показывает. Совсем ей не страшно, что гром гремит. И мне не страшно, хоть я под самым окном дежу. Комары по стеклу танцуют, мухи ходят вниз головой, а одна совсем с ума сошла - стала о стекло колотиться.

Вот и мне спать захотелось. Зажал я навозняка в кулак, зажмурился и спать начал. Вдруг дверь скрипнула, спять воспитательница с горшками пришла, стада трясти меня и к горшку звать. Рядом сней Лариска стоит. Задрала рубашку и все царапины мне показывает, а сама не хихикает, а плачет тихонько. А воспитательница ждет все, когда я начну, трясет за плечо, и пальцем в горшок показывает. А я хочу очень, а начать не могу, даже страшно от этого, а она все трясет, ногтицами в плечо вцепилась. Не могу я писать, когда на меня смотрят, не льется из меня вода, и все тут.

А вот когда ушла, тут я и начал. Писал до тех пор, пока

совсем не проснулся. Смотрю - страх какой! Я в кровати, рядом никакой воспитательницы нет и тогда уже до конца стал дописывать. Все равно уже мало осталось.

Навозника своего я в голове нашел. Боялся, что раздавид, а он ничего себе, шевелится, только вошки желтые куда-то девались.

Я ему дальцем погрозил. Ведь это я из-за него описался. Так я никогда не писаюсь. Все пишутся, а я нет. А вот с навозником я описался. В наказанье я его под подушку в наво-лочку запрятал, а наволочку на пуговицы стеклянные застегнула.

За окном уже дождь прошел, и солнце светит, а с окна паучище страшный на паутине свесился. Вот и хорошо, что я так проснулся, а не то бы кровь всю высосал. Хватит в описанности лежать. Вылез я из кровати, по комнате пошел. Вокруг тишина. Юрка спит, голову свесив. В ухо ему муравей заполз, а изо рта язык вылез и слюни на пол тянутся. Лариска лежит перевернутая, ноги на подушке, голова в ногах. Лежит и царапины во сне расчесывает.

Я в другую комнату пошел, там тоже все спят, только мухи по ним ползают, а они во сне отмахиваются и говорят что-то непонятное.

В коридор вышел - никого. На улице тоже тихо. Только с крыши капли в бочку пожарную булькают. Мимо стрекоза пролетела синяя. Я за ней помчался, прямо по дорожке, где речка за кустами течет. Посижу немного на берегу, пока простыня не высохнет, а потом обратно дернусь. Речка у нас маленькая, совсем ручеек, но глубокая. Здесь кончается территория старшей группы, а за речкой младшая начинается. Сяд я на берег, прислушиваюсь. За территорией по мосту люди ходят. Вдруг ветка качнулась, рычанье послышалось. Пес косматый из-за кустов вылез, ко мне бежит. Набросился и скулит, хвостом виляет, думает, что я собака какая-то. Всегда он здесь ходит, этот пес бездомный, и никто уж его не боится. Облизал мне лицо все языком шершавым и назад в кусты бежит, только хвост трясется ободранный. На мосту опять скулени раздались. Военный какой-то сапогом его пнул.

Тут стрекозы на палец мой налетели, целых две штуки, сцепленные хвостами. Сели и сразу же в стороны разлетелись — вкусные, Ленька говорит. Вытянул палец, дду, когда еще сядут, чтобы съесть, но больше никто не садится. Вдруг кто-то ногу куснул, смотрю — никого, только два муравья под ногой дерутся. Чёрный желтого за горло схватил, а у самого голова оторвалась. Желтый бежит, а голова его душит, так и задушила его одна голова, а черный без головы тоже умер. Плюнул я на них и в речку спихнул и еще раз в речку плюнул.

Выскочил из травы кузнечик, на меня наткнулся. Я ему лапку оторвал. Стала лапка шевелиться. Еще раз оторвал, все равно дальчики шевелятся.

Вдруг кто-то сзади руку холодную на плечо положил и пальцами мокрыми д.шее пробирается, задушить хочет. Это та, та самая рука! Я даже вспотел от страха. Потом схватил эту руку, но это была не рука, это была лягушка, огромная и толстая. Она пригнула мне на плечо и ползла к шее. Удивительно, когда сидишь тихо — никого ловить не надо, на тебя все сами нападают. Теперь она задирает ноги как балерина, а я накачиваю ее через соломинку, так что она надулась вся пузырем д.лопнула, и из пузыря вывалилась черная икра. Бросил ее в воду, раки накинулись. Так ей и надо, пусть больше людей не пугает. А сзади слышу — кто-то по тропинке идет и песенку напевает. Пригнулся, чтобы не увидеть, смотрю, а это воспитательница из младшей группы. Она всегда здесь ходит, как жара, так она и уходит далеко по берегу в кусты. Там я еще ни разу не был. Интересно, что это там такое, если ходят туда? Наверное, она там купается, потому что выходит совсем другая, с мокрыми волосами.

Это хорошая воспитательница, не то что наша. Она у нас в младшей группе была, а потом я в старшую перешел, где воспитательница совсем злая попалась. Жуков у нас отбирает и растаптывает, говорит, что грязь, а еще за уши сильно дергает.

Мы ей язык всегда показываем, а она отрезать грозится. Все она отрезать хочет: нос, когда сопли текут, уши, если

грязные, а однажды по-настоящему язык мой отрезать хотела. Я всех ребят получил языки ей показывать, вот мы и показывали. Брка пальцами рот до ушей растянул, язык высунул и рожу ей строит, а она на меня набросилась, знает, что я научил. Прижала к столу, и пальцами старыми в рот залезла, язык мой вылавливает, а в другой руке ножницы у нее щелкают. Страшно мне стало. Схватил я ее зубами за пальцы и так сильно сжал зубы, что голова моя задрожала и хруст какой-то пошел. Тогда она меня в угол толкнула так, что я носом упал. Поднялся, стою и не плачу, хоть и больно носу моему. Все равно она скоро умрет, потому что старая; сама же сказала, что все люди умрут, а старые раньше всех. Вот и пускай умирает, если так думает. А я все равно никогда не умру и мама моя тоже.

А эта воспитательница совсем другая: не дерется и не ругается. Она совсем как девочка, только большая и коса у нее длинная, а губы на розовых гусеницах похожие.

Однажды она меня поцеловала. Я сказал, что глаза у нее как у лошадки, а она нагнулась ко мне и поцеловала, даже губы мне обслиничила. И еще совсем не дергала за уши, потому что хорошая.

Она остановилась совсем близко. Косу распускает, а меня не видит. Потом в кусты пошла. Волосы за ветки зацепились. Она их распутывает и дальше идет, только сзади кусты шатаются.

Любопытно мне стало, что она там делать будет, и я тихонько за нее дошел, так тихонько, что даже кусты не шатались.

Я не видел ее из-за листьев, но как остановилась, узнал по слуху. Я тоже остановился, смотрю, где она. А ее нет, только невдалеке шелестит что-то. Тогда я тихонечко еще прошел и даже вздрогнул от неожиданности, совсем рядом она стоит, а между нами кустик маленький. Она спиной ко мне стояла и что-то под платьем делала. Потом подняла платье, совсем скрылась, и мне ее стало не видно.

На спине моей что-то зачесалось, на ветке воробушек чиркнул. Вдруг кто-то страшный как высокочит из-за кустов и захохотал на всю реку -ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я даже присел

от страха и волосы мои зашевелились. А это оказалась сорока, она вылетела из-за кустов и, хлопая крыльями, полетела по воздуху. Вот и хорошо, что я присел, а то бы воспитательница обязательно меня заметила. Она тоже испугалась. Вскочила и стала оглядываться, потом улыбнулась зачем-то и пошла к берегу. Я за ней из-за куста подглядывал. Идет и скользко ей, потому что глина на берегу разрытая и в ней вода блестит, а дальше земля и кочки у самой воды. Подошла к кочке, платье через голову раздela, сложила его и на кочку бросила, а на платье трусы свои синие. Совсем голая на берегу стоит.

Эге! Теперь-то я понял, зачем она сюда ходит — для того чтобы купаться здесь голой, потому что кусты кругом и не видно.

Нагнулась она к воде и смотрит туда на что-то. Наверное, отражается там, потому что рожи строит и язык показывает. А волосы ее длинные со спины сползли и в воду свесились. Потом тряхнула мордой, как лошадь, подпрыгнула и в башни бока свои ногтями вцепилась. Жмет на них, а живота у нее и нет совсем, всю себя одними пальцами перехватила. Вдруг как-щепнет по щеке себя и засмеялась. Потом еще раз по щеке уши ударила, и тут-так бить себя начала, что я испугался немножко и чуть подальше отполз. А она назад отклоняется, мостик сделала, оттолкнулась ногами и — плюх в глину, весь бод себе перемазала. Вылезла из глины и из четвереньках к воде пошла, даже стыдно мне сделалось. Идет на руках и ногах, а сзади вся в глину замазана и воды ее со всех сторон облепили — их-то она и шлепала, наверное. Водила на четвереньках в воду, смыла глину с себя и в глубину ушла. А в воде она вся искрилась и жицкой сделалась, так и поплыла искривленная и дрожащая. Плавает и как лягушка ноги раздваивает, только волосы за неё вьюнами вьются.

Очень мне самому искупаться захотелось. Выбрался я из-за куста и по глине пошел, как ни в чем не бывало. Все ноги себе перепачкал. А она увидела меня и рукой замахала, чтобы обратно уходил, и лицо у нее строгое сделалось. А мне и не страшно ее николечко. Я уже в воду зашел ноги вымыть, до самых трусов зашел, тогда она сама решила прогнать меня и к берегу пошла, но тут увидела себя голую и скорее

обратно по горло в долу, а оттуда опять гонит и сердится. Но теперь-то я никуда не уйду, если она сама прогнать меня не может. Стою в воде и уже трусы замочил по краешку.

Тогда она жалобным голосом просит, чтобы я не мочил трусов, а чтобы снял их, окунулся и быстрее к себе убежал. Ведь ей совсем не жалко, чтобы я искупался, только, чтобы трусы мои были сухими, а не то узнают, ей же и попадет, потому что детям нельзя здесь купаться.

Очень я обрадовался, что мне разрешили купаться, только голым немножко стыдно. Не так стыдно, как в солнечную ванну, а как-то по-другому — и стыдно и не стыдно.

Раздеваясь я скорее и в воду пошел. Вода холодная, коричневая, но я прыг и плескался стал. А она уже рядом, подошла ко мне на руках и следит, чтобы я не утонул, куском носа касается. А потом прогнала — и плескаться не дала как следует. Вышел я на берег, стал на одной ножке подпрыгивать, чтобы вода из уха ушла, да поскользнулся тут и щеп в глину, прямо в жижу, где она разрыта и разляпана. Радостно мне почему-то стало. Все ребята в кроватях лежат, а я здесь в глине, как муха в каше, барахтаясь. Я нарочно барахтался, чтобы еще покупаться. Живот обмазал и голову, совсем в чучело превратился. А глина скользкая, противная, так и ползет по мне кусками, так и чмокаает подо мной.

Подбежал я к кочке и прыг в воду. Думал, что до колено тут, а оказывается, с головой ушел. Жутко мне сделалось, темно и дышать нечем, ладе кричать не могу, только барахтаясь в глубине и водой дышу. А воспитательница уже тут. Я ее за волосы скорей, за уди, за нос хватаю. Прижался к ней весь глиняный, плачу и дрожу от испуга, а она меня целует, тоже испугалась, наверное.

Я на нее, как на дерево, забрался, обвил ногами, и все очухаться не могу, как пиявка вцепился.

Хорошая она, совсем как мама, вот и купаться мне разрешила и спасла, а я такой безобразник и в глине весь.

Она ставит меня где мелко, а сама к одежду на руках ползет, вся об меня измазанная. Схватила трусы и обратно шире пробирается, думает, что ее не видно, а сама сзади вся из

воды высунутая. Оделась под водой и меня стала мыть. Все мне вымыла: и живот, и голову, а потом полотенцем пушистым растерла. Одела платье себе и за руку через кусты повела. Я думал, что она веет наказывать, а она только по дорожки провела, там отпустила, чтобы сам шел, потому что ей в свою группу надо.

Прибежал я скорее в комнату, а дети еще спят. Одна Лариска не спит, пуп свой разглядывает...

- Где ты был? - спрашивает. - Нигде. - А я знаю, что ты описался.

Посмотрел я в кровать, а одеяло на ней отброшено. Подглядела пациентка такая - ну и говори.

А здесь воспитательница наша пришла, будит всех. Я сразу же одеялом все накрыл, кровать заправляю. А Лариска все-таки не выдала, только хихикает в уголочке и носом дразнится. Да если бы и съябедничала, мне бы все равно не попало, потому что я писаюсь меньше всех. А у нас есть дети, которые не только писаются, но и какаются в дровать. Воспитательница целый час заставляет их на горшке сидеть, а они все равно обкакиваются.

Она сдергивает с них одеяло и смотрит: что там под ними. И я тоже смотрю - интересно это, когда ужас в кровати делают. А они как в глине лежат обмазанные и во сне еще улыбаются. Воспитательница за ухо хватает и в простынь лицом их тычет, ругает, что на горшке не сидели, а они не понимают ничего, кусаются, орут, и запах от них смешной какой-то.

Тут я про навозника вспомнил, вынул его незаметно из-под подушки, и на улицу побежал, пока шум идет. Дернул за ниточку - жук крылья раскрыл и журчит перед носом. Полетел в сторону, нитку растягивает, а я за ним бегу. До самой уборной долетели, и с нами мух целый рой. Это жук меня сюда тянет. Я его в сторону завернуть хочу, а он так и рвется к уборной, потом вокруг головы моей залетал.

А воспитательница уже всех к полднику зазывает, бьет ложкой по ведру, чтобы слышали.

Воткнул я гвоздь с жуком в незаметное место, чтобы он тоже полднился, а сам к столу побежал.

На столе молоко стоит и конфеты кучками. Надо скорее сесть, где поменьше пенок, а не то противные. Юрка уже за столом сидит. У кого-то конфетину зацепал и в майку сунул. Я бы тоже зацепал, да за ухо дерут. Сипит Юрка, как ни в чем не бывало и молоко свое пьет. А тут уже остальные чети зашли стол присели. Вовик около Юрки сел, значит у него конфету зацепали.

Посмотрел Вовик в стакан, а там пенки плавают. Сморщил носом, Юрке свой стакан отодвинул, а что конфетина пропала и не заметил вовсе. Не любит Вовик конфет, потому что папа ему целый мешок привозит с подарками.

А Юрка рад, что молоко лишнее получил. Дети пенки свои вытаскивают и в его стакан бросают - Юрка, он все съест, что ему пенки, он и червяка в рот положить может.

Вот он и пишет выше, чем я, потому что два молока пьет. Но я по борьбе все равно его сильнее. Я прием один знаю. Обниму рукой его голову и к себе жму, чтобы она у него чуть не оторвалась. Жму до тех пор, пока у него слезы из глаз не пойдут. А вокруг ребята скачут - бей его, бей - кричат. Потому что он их сам всегда бьет. А я Юрку совсем не бью, я с ним только борюсь. Зачем драться, ведь мы друзья. А Юрка все равно плачет. Так никогда не плачет, а когда бою - плачет. Вот он и ест теперь эти пенки, потому что воспитательница сказала - кто пенки ест, тот сильным будет. А я все равно не люблю пенки. Но свою Юрке не отдам, сам съем, хоть и противная.

Вначале мы с Юркой молоко пьем, а конфеты на потом оставляем, потом их есть вкуснее. К своим конфетам Юрка еще и Вовину дрибавляет. Откусил от нее половину, а другую мне тянет.. Ведь я же его не выдал. А то однажды Лариска сказала про него, так его к врачу повели, операцию делать - разрезут живот и вынут из него лишнюю конфетину. Но до дзолятора не довели. Заплакал Юрка, сказал, что больше не будет, честное слово дал сталинское, а сам опять таскает. Только ест их потом, а вначале под майку прячет, чтобы когда поймают, не живот резали, а из-под майки доставали.

Сидим мы с Юркой в укромном местечке и конфеты жуем, только слюни капают. Съели конфеты, а потом золото шелестящее жевать стали, в которое конфеты обернуты, потому что на нем шоколад присыпал. А кругом такое солнце, что и не верится, будто гроза гремела.

Воспитатели в пары всех собирают, полотенца на плечи вешают и цепляют всех на Финский залив. Вот здорово! Я уже купался сегодня и опять купаться буду.

А Финский залив дацко-далеко, пока идешь, кожа на плечах от солнца слезает. Идем мы целыми группами, а за нами солнце следом. Останавливаюсь я, и солнце останавливается. Все идут, а мы с солнцем стоим.

Ах, какой песок горячий! Совсем как утюг, даже пятки поджарить можно. Но потом привыкают пятки, только по животу как будто мурашки бегают, если в песок лечь. Так мне стало горячо, что как будто холодно.

А между нас люди разноцветные ходят: красные, малиновые, белые. Один коричневый дядька перешагнул меня.

Ну, вот, теперь я так и останусь на всю жизнь маленьким, для тогда мне тоже этого дядьку перешагнуть надо. Так все дети говорят, я им не верю, а все равно страшно. Только как же этого дядьку перешагнешь, если он сам чуть ли не до самого неба? А тебя еще загорать заставляют — лежи и ни с места. А я и так уже весь изжаренный, в носу моем так пересохло, что и вздохнуть нельзя.

Надо скорее в воду забежать и быстро напиться, пока еще дети не зашли, а то зайдут и напишут туда потихонечку. Я-то уж знаю, что пишут, потому что мы везде писаем. Куда мы только не пишем! В кровать пишем и в бочки пожарные, в лейки и в цветы. Даже в бане, когда нас в тазик подсадят. Только в горшок мы писать не любим, а так везде. Однажды мы писаньем пожар лесной потушили. Девчонки заплакали и к воспитательнице добежали, а мы с Юркой собрали мальчишек вокруг огня и водой его своей потушили.

А Юрка у нас в этом деле совсем герой. Мы соревнования такие устраиваем: кто быстрее выписает, или, наоборот, кто

медленнее, кто выше и кто дальше. Всегда Юрка в этих соревнованиях на первом месте: в уборной он писает по самого потолка, а в землю глубже всех прорыдает ямку. Но все равно по борьбе я его сильнее. Я прием один знаю. Он всегда от меня драчется. А вообще мы друзья — мне, как Юрке, до потолка не додпишать.

Вот мы и в Финский залив тоже пишаем. Дети не говорят, что пишут, но все равно, наверное, пишут.

А вдруг не пишут? Они же не говорят. Может быть, только я один пишу, а то ведь если бы все в воду писали, ее наверное и пить было нельзя. А так ведь можно. Значит, только я и пишу. Люди в воду идут, а про меня не знают, что я туда написал.

Ведь если бы уздали, так и не купался бы никто. Кто же купаться станет в воде описанной? Вылезли бы все на берег, окружили бы меня и ругать стали, что я воду им всю испортил. А то еще хуже — сами бы тоже в воде стали писать.

Страшно мне от таких мыслей, я на берег бегу и в песок закапываюсь. Не глубоко закапываюсь, только по животу. А Юрку мы с головой закапываем, так, что совсем его не видно. Один только Юркин нос торчит, чтобы дышать ему, а не то и задохнуться можно.

Потом я отполз от всех незаметно. Интересно мне в песок закапываться. Пойду по берегу. О, какая рыбина валяется! Схватил ее за хвост, а она фу-ты как воняет. Бросил ее скорее на место, к толпе большой побежал. Огромная собралась толпа, жмутся люди друг к другу, говорят что-то и все собираются, собираются, как муравьи в кучу..

Пробрался я между их ног, а там в середине человек вяляется с языком вылезшим, другой человек ему ноги сгибает, а еще другой на живот жмет, так, что у того вода изо рта хлынула. Страшно мне стало, я назад пошел пробираться, а тут все ноги сплошные: волосатые, толстые, тощие переступают, на цыпочки становятся, и в лицо мне коленями тычат. Пробрался кое-как, как будто через лес какой-то, назад к своим ребятам бегу. Мимо головы пробежал закопанной. Лежит голова на песке и ревет слезами горючими, языком облизывает-

ся, а вокруг мальчишки голые дрыгают, лягушками по бокам стучат. Дальше бегу, смотрю, лялька коричневый, который меня перешагнул, с жирной теткой валяются. Закрыли глаза и лежат, как мертвые. Я прыг через него, тетке в живот вляпался. А она и не заметила, лежит себе, как бегемот в зоосадике, не шевелится. Тут меня как ударит что-то по голове, даже с ног сшибло. А это мяч, оказывается, так сильно стукнутый. Встал я и опять бегу. Наконец, к своим добрался. Фу-ты! бросился на песок и ~~воздух~~ глотаю, так запыхался, что и не вижу ничего. А около меня Ленька песок жует. Только уши у Леньки какие-то непонятные. И руки тоже. Ух ты! а где же пальцы его? И рот до ушей. Куда ж я попал? Так это же уродики безобразные! Целый садик их здесь. Окружили меня и пальцами в глаза лезут. Один за ухо схватил, другой за ногу кусает. Противные какие-то, страшные, совсем не смешные. Возятся, как черти, в песке и воют что-то. А воспитательница у них хорошая, совсем как у нас в младшей группе. — Иди, — говорит, — скорее отсюда, мальчик. — А я и так давно хочу вырваться, да уродики непускают. Навалились все на меня — и кучу-малу устроили. Бизжат, царапаются и ручками уродливыми в лицо мне тычат, ~~дышать~~ дышать совсем не дают. И не страшно мне, а жутко как-то, потому что кусаются не больно совсем, зубов у них нет, чтобы? Выполз я, наконец, из-под кучи, весь слюнями их измазанный и помчался, что есть духу. На уродика сморщенного наступил, раздавил его, как лягушку какую-то. А они кричат — бу-бу-бу — и в догонку песком швыряются.

Бегаю я по пляжу, чуть не плачу, а группы моей все нету и нет. Нужно скорей к рыбине донюющей бежать. Вот она, моя тухлая рыбина! — значит, и садик где-то поблизости. Озираюсь по сторонам, ищу садик. А тут тень ко мне огромная наклонилась. Хвать под мышки меня — и наверх тащит — это лялька был коричневый, которого я перепрыгнул, — ты что это по животам ходишь? — говорит, и поднял меня на всю великанинскую величину, так что весь пляж мне сразу стал виден. Вот и группа моя любимая. Я кричу, ногами отпрыгиваюсь, а он в воду меня уносит, утопить захотел. По горло уже занес. Потом

увидел, что я от страха сейчас умру, обратно вынес, на берег поставил. А сам от смеха трясется, а я от ужаса. — Не бойся, — говорит, — я ведь дядя Степа. — Бросился я от него поскорее. Дяди Степы только в книжках интересные бывают, а на улице увидишь, так от страха умереть можно — тоже, наверное, уродища.

Наконец-то к группе своей прибежал настоящий. Шлепнулся лицом в песок и дышу как поезд, даже песок в горле застрял, еле откашлялся.

Хорошая наша группа, самая лучшая из всех. Там все чужие ходят, а здесь свои все: Вовик на животе лежит и пальцем в песке что-то трогает, остальные вокруг бегают, кувыркаются. А я, хватит, набегался. Поползу к Вовику, что это он там такое пальцем трогает?

Хороший Вовик, совсем не подлиза, только плохой, что ни с кем не играет. Лежит себе в сторонке один и сам с собой разговаривает. Жуков он очень любит. Я тоже жуков люблю. Но я живых люблю, а Вовик и мертвых тоже. Целую коробку себе наловил и все теперь у него подохли, он их теперь в землю закапывает, хоронит там.

Лежит Вовик и в ямку песочную смотрит. А в ямке муравей у него сидит. Муравей наверх выбраться хочет, а песчинкисыпятся вниз. Так он и стоит на одном месте, бежит — и в то же время стоит.

А воспитательница всех уже в пары строит. Сосчитала детей, а нас с Вовиком не хватает: схватила за руки и тоже построила. Домой все дошли, в песок проваливаясь, я и Вовик последней парой идем. Вдруг Вовик как пернется и назад побежал скорее. Что это он оставил там? Я за ним побежал вдогонку. Очутились на старом месте, а тут животы наши отпечатанные и ноги лежат, мы ушли, а они лежат. Между ними в ямке муравей все ползает. Схватил его Вовик, а сам чуть не плачет от досады. Догонять остальных побежали.

Идем сзади, а я про себя все думаю: что бы приключилось, думаю, если бы Вовик про муравья забыл? Мы бы домой пришли, а муравей бы полз и полз в своей ямке. А потом бы ночь пришла, на пляже темно и страшно, а он все ползает,

выбирается. Выберется, а там в другую ямку упадет, так и будет всю жизнь ползти, ползти и стоять на месте: а песочинки все будут ссыпаться, ссыпаться, а он все будет бежать и бежать, а потом зима придет и снег на него навалится: Вот как страшно бы все приключилось — молох Вовик. Выпустили мы его на дорогу, муравьишко без оглядки в лес бежит: наверное, детки у него там и мама тоже. Только бы где наступили ногой на него, а то вон людей сколько ходят. Подняли мы опять муравьишку и за кусты бросили, смотрим, а там за кустами что-то страшное шевелится. Все идут и не видят, что за кустами творится, а тут такое страшное, что даже сказать нельзя. Это прались два чудовища: черное и красное. Вначале мы ничего разглядеть не могли: они переплетались друг с другом и катались по земле в пыли. Потом у черного вывернулись усики, у него были усы и клещи. Оно схватило красное за хвост и потащило его к себе, а красное растянулось как кишечка от противогаза и скрутилось сразу же. Черное его раскручивает, а оно опять скручивается. Тогда черное вцепилось ему в живот и стало в мясе вгрызаться, так что морду в крови перепачкало, а красное сморщилось все и вдруг поднялось дрожащимо, хвостом бьет о землю, чуть ногу мою не задело, и даже отшатнулся от ужаса. А черное все грызет его, так что на две половины распловинило, и две их теперь красных стало, расползаются в разные стороны. Одна половина в лес поползла, до черного догнало ее и жрать стало, а другая половина на дорогу выползла, и тут ее дядька военный сапогом раздавил так, что кровь одна брызнула. Это червяк был красный, а черная сороконожка такая. Маленькие они были в сравнении с нами, но так дрались жутко, что у Водика даже слезы от страха вышли, а я дрожал, как от холода. Побежали мы скорее группу догонять, догнали уже, со всеми щем. Плелись сзади и ничего уже больше не видим, только драка стоит в глазах ужасная: то хвост по земле колотится, то половину красную сороконожка рвет.

Наконец в лесской садик пришли, а здесь расходиться им не разрешают, говорят, уколы будут, и в изолятор ведут. Услышал я про уколы, и даже коленки мои хрустнули. Спрячусь

куда-нибудь в кустики, может, и не заметят меня. Тихонько от Вовика отцепился и к жуку своему навознику пошёл. Смотри, а здесь курицы бродят. Выдернул гвоздик скорей — одна шкурка на дыточке болтается, заклевали, значит, курицы жука моего бедного, только вошка одна по шкурке бегает. Жалко мне стало навозника, чуть не заплакал я. Похоронил его, вместе с ниткой и гвоздик в могилку воткнул. А потом и гвоздик жалко стало: возьму его с собой, пригодится, может быть. Обратно пошел и забыл совсем, что уколы делают; все равно теперь навозника моего нет. А здесь только крики из изодятора несутся, и стон стоит. Это нарочно сегодня уколы придумали: завтра родительский день у нас, и мамы тогда не дадут летят своих мучить. Вот сегодня и мучают. Всех уже замучили, одни мы с Вовиком остались, бежать уже вместе хотим. А тут воспитательница с врачихой из извери выскочили, за шкирку схватили и в изолятор запихивают. Запихали и шприцы в железной коробке стали варить. Присели мы с Вовиком, в углу зажатые, — друг в друга прячемся. А врачиха уже щипцами гремит, иголками перезвязывает. Много у нее иголок, целый шкаф стоит, и растения лекарственные с иголками.

Страшно это, когда уколы делают, не так уж больно, как страшно. Потому страшно, что врачиха у нас страшная. Длинная вся, косматая, и зубы длинные, и ногти, и нос. Убери лопатку, — говорит. А под ложечкой не колет? Дыши, не дыши, — говорит, — на карачки встань — и на кресло садит крутящееся. — Язык покажи, рот разинь — руку она не рукой, а кисточкой называет. — Дай сюда кисть! — и палец мой щипцами прокусывает и кровь сосет через трубочку стеклянную. А руки ее лекарством вонючие: схватит тебя — весь день декарсивенным будешь. И все нам больно делает, только когда градусник ставит, немного щекотится.

Цапнула ногтями Вовика и на кровать волокет его, а воспитательница, ведьма старая, штаны с него стягивает. Кричит Вовик, мотается, ногой дрыгнул по лицу воспитательнице, маму свою зовет, а врачиха рот ему затыкает. Страшно мне смотреть на это, ведь меня же после Вовика так же мучить будут. А врачиха уже иголку в шприц приделала, воткнула ее

в Вовика и лекарство туда пускает. Трясется Вовик, отрыгивается, когда из него выскочила и уже другую в то же место воткнули, даже синий волдырь под кожей надулся. А Вовик не кричит, только стонет тихонько, и все зовет, зовет свою маму Отпустили его, несчастного, на меня набросились. Но я-то не просто ламся, не хочу, чтобы меня иголкой дотыкали, вот и гвоздь у меня ржавый в руках чернеется, пригодился значит. Царапать буду их руки поганые. Подходят уже, окружают со всех сторон.. Руки скрутили, гвоздик выбили. Одна штаны сдирает, другая иглой трясет. Страшно мне делается, так страшно, что и крик ядропал. Лежу и затих, как мертвый. Только прыгнулся, когда иголку воткнули и больно вдруг стало, очень больно, и все.

Потом сдевают, руки моют свои вонючие, надо мной смеются еще. А ты, говорят, оказывается не девчонка совсем, и на ужин меня ведут измученного.

Сел я на стул и подпрыгнул даже - на одной половинке укол болит.

А за столом не шумит никто, только хнычат под нос себе и кашу уплетают с добавками. И не видит никто, что каша эта от завтрака нам осталась. Тогда и с вареньем не ели, а теперь без варенья добавки дросят.

После ужина на травку ведут, только теперь мы совсем не кувыркаемся: лежим себе на половинках и ждем, что с нами дальше делать будут - мучить или не мучить.

Все дети от этого мучения плакали, только я не плакал и Юрка тоже. А Юрка и сейчас смеется, совсем не больно ему в укольном месте: всем стукать до нему даёт. А я не даю, больно мне. Лежу на травке и не двигаюсь, даже мурашки в ноге забегали, отнялась совсем.

Юрке-то что, он может быть весь, как уши его, резиновый; может быть и там, где укол вставляли, тоже у него резина сплошная. Вот и не плакал он, потому что резине не больно. А я кожаный, весь из кожи человеческой; мне больно было, а я все равно не плакал.

Воспитательница, ведьма злая, к нам идет. Держала всех, радовалась, баба Яга, когда уколы делали. Сидит теперь и

книгу читает, а сама себя, пуря, по щекам бьет. И я тоже по щекам себя бью, потому что комары нападают, вредители.

Со всех сторон окружили нас, в кожу втыкаются и кровь сосут — тоже уколы делают.

Но с комарем-то мы быстро справимся — это не врачиша зубастая. Шлеп — и нет комара, одно черное место краснеется. Только ночью чешутся их укольчики, врачикин укол болит, а комаринные щекотятся.

Лежу я в кровати и ногтями их расчесываю, всю кожу себе до крови содрал, под ногтями теперь.

А вокруг уже спят давно; только я не сплю и луна за стеклом висящая. Ленька вчера с окна ее слизывал. Нос у Лены есть и ротик тоже, совсем она грустная какая-то.

Ленькины ботинки в разные стороны под кроватью смотрят. Так и проходили, значит, Ленька весь день не на тех ногах. Мамы к нам завтра приедут: спят все и сон наверное про маму видят. Ленька языком облизывается, конфетами его там угощают, значит. Даже Юрка, хоть и резиновый, а шевелит губами и маму зовет.

Интересно, почему это когда больно, все маму зовут, а не папу? Ведь папы-то сильнее мам? Вон у Вовика какой сильный, а он все равно маму звал, когда укол втыкали.

Интересно, кого бы я звал, если бы у меня папа был? Наверное, тоже маму: хорошая у меня мама, добрая и красивая, самая красивая на свете. Вон у Юркиной нос какой глиняный. Как он только может любить ее с носом таким? А у Леньки так совсем плохая, в точках вся.

Только моя мама хорошая, плохие все, и еще Ларискина немного хорошая. Вместе наши мамы работают. А однажды Ларискина мама заместо моей приехала, ко мне приехала и к Лариске тоже, и гулять нас двоих водила.

А от мамы мне яблоки кислые привезла, даже червяк в одном ползал желтенький — чуть не съел я его.

А врачиша говорит, что глисты до мне живут. Непонятно, как они в меня заползают. Я же всегда с закрытым ртом сплю, не то, что Ленька: вон как разинулся, арбуз уже там глотает, наверно.

А моя мама все равно самая лучшая. Больше всех на свете она меня любит. Скорей бы завтра, чтобы ее увидеть. Поведу ее среди всех, пускай смотрят, какая она хорошая. А она улыбаться всем будет.

Люблю я, когда мама смеется. Однажды она письмо получила — бумагу с буквами, прочитала и дасмейлась радостно, и я тоже засмейлся, потому что я всегда смеюсь, когда мама смеется — потом смотрю, а она плачет так громко, а не смеется, и я тоже тогда заплакал.

Плохо, когда мама плачет. Где она сейчас? Может быть, на нее шайка напала или Бармалей какой.

Нет, Бармалей только в книжках бывает. Юрка опять свою маму зовет. И Лариска тоже. Пальцем волоса шевелит. Все ждут завтра, а я-то как! Им-то хорошо, во сне. Вот бы мне поскорей в сон уйти, чтобы маму увидеть.

А вдруг она снова не приедет? Только ларискина яблочки от нее привезет? Всегда так — ко всем приезжают, а я один остаюсь. А они конфеты мне будут давать, а я все равно не возьму, уйду куда-нибудь, чтоб не видели.

Слезы на подушку капают, громко очень. Ползут и щекочат, как мухи лапками. Совсем не любит меня никто.

Нужно языком их скорее слизывать, а то блестят, как светляки, еще увидят кто-нибудь. Может, Юрка совсем и не спит, может, он только притворяется и глазком одним подсматривает, а потом смеяться будет. Все завтра смеяться будут, только я один плакать тихонечко.

А слезы так и текут, так и падают. Языком я их с носа слизываю; и совсем не горькие они, а соленые, как кровь ларискина.

Завтра угощать меня будут все. Ленькина мама одеть мне огурец даст или помидорину. Всегда она угощает, когда я один остаюсь. А Леньку ее несчастного душат все. Хороший Ленька — смешной совсем, и мама его хорошая, хоть и в точках. Не буду больше Леньку душить, — защищать его буду. Вон я сильный какой, самый сильный в детском садике. Всех теперь защищать буду.

— Ык! — вот и икать что-то начал. — Ык! — на всю комн

ту. А может быть, и ко мне приедут. Чего это я, как певчонка какая-то? всегда так — сдят все, а я реву. В носу свистит что-то. — Ык! — спать надо.

Ленинград, 1960-сентябрь 1963